



Дарья Черпакова

ЗМЕЕВА НЕВЕСТА

Что делать, если твой
любимый — Змей Горыныч?

Дарья Черпакова Змеева невеста

<https://litres.ru/73980971>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она упала в овраг и встретила того, кого всю жизнь велено было бояться. Змей Горыныч оказался не чудовищем, а одиноким стражем, который любит звёзды и гречневую кашу. Деревня против. Слухи бегут быстрее огня. Но когда приходит настоящая беда, Забаве приходится выбирать: отступить или защитить того, кто стал дороже всех.

История о том, что любовь не спрашивает, сколько у тебя голов. Она просто приходит — и остаётся навсегда.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Дарья Черпакова

Змеева невеста

Глава

Что делать, если твой любимый — Змей-Горыныч?

Глава первая. Первая встреча

Край, о котором речь, на картах не значился. Ни в летописях киевских, ни в грамотах новгородских, ни в хрониках иноземных его не сыскать. Жил тот край сам по себе — никому не мешал, и его не трогали. Леса стояли стеной: сосны в три обхвата, ели мохнатые, берёзы белоствольные, что девицы в хороводе. Меж лесов речка вилась — студёная, прозрачная, рыбная, по берегам ивняк да ольшаник. А за речкой, на взгорке, лепилась к земле деревенька в три двора — Малые Лопухи.

Почему Лопухи? А лопухов там росло — видимо-невидимо. Лист с тарелку, корень с добрую репу. Старики говаривали: сам Велес проходил этим краем, тряхнул гривой — и посыпались семена заморские. Врали, может, но лопухи и впрямь были знатные. В жару от них тень спасительная,

в дождь — крыша над головой, а корень, особым способом томлённый, давал вкус сладковатый и силу телу немалую.

В тех Малых Лопухах и жила наша героиня — девица по имени Забава.

Мать её, покойница Степанида, когда дочь рожала, так кричала, что вороньё с окрестных деревьев поднялось. А взяв младенца на руки, глянула в сморщенное красное личико и рассмеялась сквозь слёзы: «Ох, и забавная ты! Вся в бабку — та тоже поперёк всех шла». Так и пристало.

Степанида ушла в Навь рано, когда дочери едва двенадцать вёсен минуло. Застудилась на реке — прорубь чистила для стирки, слегла в горячке и за три дня сгорела, как свечка воску ярого. Забава осталась одна-одинёшенька, в избе на краю деревни, у оврага. Изба была добрая, на две половины, с печью русской, что полдома занимала, с полатями широкими. В красном углу темнела икона — Богородица с младенцем, лики тёмные, а глаза живые, глядят с укоризной и лаской пополам.

Соседи сперва охали: как же девка одна? Пропадёт. То ли волк задерёт, то ли лихой человек обидит, то ли сама с тоски зачахнет. Ан нет. Забава оказалась справной: и огород держала, и кур кормила, и пряла так, что нитка звенела, и в лес

ходила не хуже бывалых баб. А главное — нрав имела. Не строптивый, а самостоятельный. Слово молвит — как гвоздь забьёт.

Собой она была не то чтобы красавица писаная, каких в сказках описывают. Обычная славянская девица — статная, плечистая, с сильными от работы руками, но при том всё при ней ладно скроено. Коса русая, толстая, ниже пояса — в деревне завидовали, говорили, такой косой коня привязать можно. Когда Забава улыбалась — а улыбалась она нечасто, всё больше по делу, — на круглом подбородке проступала ямочка, и лицо делалось совсем девчоночьим, и видно было: не такая уж она суровая, какой хочет казаться.

Характер у Забавы был — кремень. Мать говаривала: «Ты, дочка, как лось лесной — идёшь спокойно, а тронь, так рогами и вдаришь». Обиду Забава не спускала. Могла словом приложить так, что обидчик неделю ходил красный, могла и вожжами огреть, если кто руки распускал. Потому деревенские парни её не трогали. Побавались.

Только один и поглядывал — Митька-кузнец.

Был Митька мужик справный. Ростом невысок, зато в плечах косая сажень. Руки что кувалды, все в ожогах и шрамах от кузнечного дела. Лицо широкое, добродушное, нос кар-

тошкой, глаза голубые, как небо в мае, усы рыжеватые, вечно в саже. Когда Митька улыбался, делался похож на большого ребёнка, хотя уж тридцать вёсен разменял. Жил он на другом конце деревни, у кузни, что стояла на отшибе у речки — чтобы искры не подпалили чего. В той кузне Митька и спал, и ел. Родители давно померли от мора, женой он так и не обзавёлся.

Почему? Да всё потому же — Забава.

Полюбилась она ему давно. Ещё когда девчонкой бегала с косицами растрёпанными, он заглядывался. А как расцвела — вовсе покой потерял. Придёт в кузню, молот возьмёт, а сам в окошко глядит: не мелькнёт ли сарафан синий меж дерев?

Но подойти боялся. Не потому, что трус — Митька, если надо, и с медведем в одиночку схватиться мог. А потому, что чувствовал: не пара он ей. Забава — как жар-птица, ей бы в небо, а он — кузнец, ему у горна. Что он ей даст? Подковы? Ухваты? Жизнь размеренную, где день на день похож, как одна подкова на другую?

И всё же надежду лелеял. Вдруг да заметит?

Но Забава не замечала. Не из вредности — просто забот

полон рот.

Так бы и текли дни в Малых Лопухах, похожие один на другой, как блины из одной опары, если бы не случилось то, о чём дальше речь.

Август в том году выдался жарким, душным. Небо стояло белёсое, выцветшее, будто старая холстина. Солнце палило нещадно, трава пожухла, колодец обмелел — воду доставали с самого дна, обвязывая ведро дополнительной верёвкой. Лес стоял сухой, потрескивал, пахло смолой и пылью. Грибов в такую пору не жди, но старики говорили: после грозы полезут, надо только место знать.

Забава место знала. За Калиновым оврагом, в той стороне, куда деревенские не ходили. Место то худой славой пользовалось. Говорили, в старые времена стояло там капище неведомых богов, кровь на камнях лилась, и по сей день земля там «нехорошая». Кто забредал — либо кругами плутал дотемна, либо вовсе не возвращался. А кто и возвращался — умом трогался, нёс околесицу про змея трёхглавого, про крылья чёрные, про глаза жёлтые.

Забава в эти рассказы не верила.

— Змей, — говорила она тётке Лукерье, — он, поди, та-кой же змей, как я — царевна заморская. Люди от безделья чего не придумают.

Лукерья только головой качала и крестилась мелко.

В тот самый день, когда духота стояла такая, что даже ку-ры забились под лавку и не кудахтали, Забава решила: пой-ду-ка за грибами. Чем в избе потеть, лучше с пользой про-гуляться.

Собралась как обычно. Сарафан старый, холщовый, кра-шенный луковой шелухой в желтоватый цвет — не жалко, если веткой порвёт. Платок на голову от солнца, лукошко плетёное, ножик на пояс. Кота Ваську, дрыхнувшего на пе-чи, потрепала за ухом, наказала мышей стеречь и вышла на крыльцо.

Деревня дремала в полуденном мареве. У колодца нико-го, у Лукерьиной избы ставни прикрыты — хозяйка, видать, в погреб ушла от жары. Из трубы Митькиной кузни вился дымок — кузнец работал, невзирая на пекло. Забава прово-дила дымок взглядом, вздохнула о чём-то своём и зашагала к лесу.

Тропа сперва шла по полю. Рожь уже сжали, стерня колола ноги сквозь лапти, но Забава шагала легко. Жаворонок заливался в небе, кузнечики трещали так, что в ушах звенело, пахло полынью и нагретой землёй.

У леса стало легче. Сосны давали тень, и хотя воздух оставался густым и тяжёлым, уже не пекло макушку. Забава свернула с главной тропы на звериную стёжку — узкую, едва заметную, петляющую меж папоротников и ежевичных кустов. Эту стёжку она протоптала сама за годы, чужих следов тут отродясь не было.

Лес стоял старый, дремучий. Сосны — что колонны в храме, кроны высоко смыкаются, пропуская только редкие солнечные копыя. Мох под ногами пружинил, глушил шаги. Птицы пели иначе, чем на опушке, — с оглядкой, будто боялись кого-то разбудить.

Забава шла и привычно подмечала всё вокруг. Вот муравейник с добрую копну сена, муравьи снуют озабоченно. Вот белка мелькнула рыжим хвостом, зацокала возмущённо: мол, ходят тут всякие. Вот ворон на суку, голову склонил, смотрит умным чёрным глазом.

— Чего уставился? — спросила Забава без страха. — Лети, не каркай.

Ворон каркнул — для порядку — и снялся с ветки, тяжело замахал вглубь леса.

— Вот и ладно.

Грибы начались не сразу. Сперва пошли поганки — бледные, на тонких ножках, ядовитые. Забава их не трогала, только нос морщила. Потом у поваленной бурей ели нашлось семейство маслят — крепеньких, ладных, с коричневыми блестящими шляпками. Забава присела, достала ножик и принялась срезать, укладывая в лукошко рядками.

За этим занятием её и застал тот звук.

Сперва она не поняла, что изменилось. Просто птицы смолкли разом. Кузнечики притихли. Лес замер, затаил дыхание, будто перед грозой. Забава подняла голову.

Тишина стояла звенящая, неестественная. Даже ветер перестал шуршать в кронах. И в этой тишине — далёкий низкий гул. Не гром — скорее, будто где-то глубоко под землёй великан ворочается, вздыхает тяжело. Земля под ногами едва заметно дрогнула.

Забава нахмурилась. Гроза? Но небо в просветах крон

оставалось белёсым, без единого облачка.

Гул повторился. Ближе.

Она поднялась, отряхнула руки и сделала несколько шагов в ту сторону, откуда шёл звук. Любопытство — оно такое. Иных губит, а иным судьбу открывает.

Лес становился гуще, мрачнее. Сосны уступили место елям, чьи лапы низко нависали над землёй, образуя тёмные шатры. Папоротники встали в человеческий рост — огромные, первобытные. Тропа пропала, Забава шла наугад, раздвигая ветки руками.

Лес кончился внезапно, будто ножом отрезало. За еловой стеной открылся овраг — глубокий, с крутыми склонами, заросшими цепким кустарником. На дне чернела вода — не то ручей, не то болотце. А за оврагом снова вставал лес, такой же тёмный и неприветливый.

Калинов овраг.

Забава остановилась на краю, переводя дух. Сердце колотилось — не столько от страха, сколько от быстрой ходьбы и духоты. Она огляделась. Место и впрямь нехорошее — тихое, мёртвое. Даже комары не звенели.

«Овраг как овраг, — подумала она. — Чего люди пугают?»

Она уже хотела повернуть обратно — грибов хватало, да и солнце начало клониться, — как вдруг заметила на склоне, чуть левее, яркое красное пятно.

Мухомор. Огромный, с доброе блюдо. Шляпка алая, будто кровью налитая, крапинки белые — ровные, круглые, словно кто кисточкой выводил. Рос он на замшелом валуне, выступавшем из склона, будто специально для него поставленном.

И ещё от мухомора шёл свет.

Слабый, едва заметный в дневных сумерках оврага, но несомненный — красноватое мерцание, будто внутри гриба горел уголёк. Забава замерла. Такого она отродясь не видывала.

Свет запульсировал — раз, другой, — и ей почудилось, что она слышит звук. Не ушами — где-то внутри головы. Тихий, тягучий, как далёкий звон колокольца. Он звал. Не словами — ощущением. Тёплым, обещающим, отчего сердце забилося чаще, а ноги сами шагнули к краю оврага.

«Да ну его, — попыталась она одёрнуть себя. — Чего я туда полезу? На мухомор глядеть? Скажут — умом тронулась».

Но ноги уже несли её вниз. Склон был крутой, глинистый, кое-где торчали корни — можно ухватиться. Первый шаг вышел удачным, второй — тоже. Она уцепилась за корень старой сосны, нащупала ногой уступ и стала спускаться боком, как учила когда-то мать: «По глине не ходи прямо, скользко. Бочком иди, как краб».

Третий шаг стал последним.

То ли корень подвёл, трухлявый оказался, то ли нога соскользнула на мокрой глине, то ли судьба так решила. Забава охнула, взмахнула руками, и земля ушла из-под ног.

Мир завертелся кувырком — небо, лес, красный мухомор, всё смешалось в пёструю ленту. Что-то больно ударило в бок, потом в плечо. Лукошко вылетело из рук, грибы посыпались дождём. Забава попыталась ухватиться за куст — только ободрала ладонь о колючки.

Удар. Тьма. Тишина.

Очнулась она не сразу. Сперва был только гул в голове и боль — тупая, разлитая по всему телу. Потом пришёл звук — далёкий, ритмичный, похожий на дыхание спящего великана. Потом запах. Странный — не лесной, не травяной, а горячий, с примесью дыма, но мягкого, печного, будто хлеб испекли и заслонку открыли.

Забава открыла глаза.

Перед лицом — земля, трава, корешки. Она лежала на боку, придавленная собственным телом, не в силах пошевелиться. Во рту вкус крови и глины, в голове колокольный звон.

Она застонала и попыталась перевернуться на спину. Получилось не сразу. Теперь она видела небо — узкую полоску меж краями оврага, уже не белёсую, а золотисто-розовую. Вечерело. Последние лучи красили облака в нежные персиковые тона.

«Вот дура. Убилась. Мать бы меня вожжами отходила».

Пошевелила руками — целы. Ногами — левая отозвалась резкой болью в лодыжке. Не сломана, но подвернулась знатно. Остальное, кажется, цело. Уже хорошо.

И тут она услышала голос.

— Жива, стало быть. А я уж думал — отпевать придётся.

Голос был странный. Низкий, густой, с глубинными обертонами, будто три человека говорили в унисон с небольшим расхождением. И шёл он отовсюду сразу — сверху, сбоку, снизу.

Забава медленно, преодолевая боль в шее, повернула голову.

Над ней нависало нечто. Огромное, заслоняющее полнеба. Чешуйчатое. С тремя шеями, что расходились, как ветви дуба. На конце каждой — голова. Змеиная, вытянутая, с гребнями, с раздувающимися ноздрями, из которых вился сизый дымок. И глаза — жёлтые, с вертикальным зрачком, светящиеся в сумерках, как три пары фонарей.

Забава не закричала — голос пропал. Сжало горло ледяной рукой. Она только широко раскрыла глаза и вцепилась пальцами в землю, будто надеясь, что та укроет.

А головы склонились ниже, разглядывая её с откровенным любопытством.

— Глянь-ка, — сказала левая, голосом повыше, с присвистом. — Не орёт. Странно. Обычно орут.

— Может, немая? — предположила правая, басившая как простуженный медведь.

— Не немая, — возразила средняя, самая глубокая и спокойная. — Я слышал, как она пела в лесу. Про калину. Хорошо пела, душевно.

Забава обрела дар речи — вернее, хрип.

— Вы... кто?

Три головы переглянулись — странно и немного комично, как три курицы.

— Я — Горыня, — сказала левая.

— Я — Горыныч, — поправила средняя с достоинством.
— А это, — кивок в сторону левой, — баловство.

— Сам ты баловство! Я тоже Горыня! Мы все Горыни!

— Тихо, — оборвала правая. — Девицу пугаете. Она и

так белая, как смерть.

Забава чувствовала, как кровь отлила от лица. Но панического ужаса не было — только страх, отстранённый, будто всё происходит не с ней. Может, она ударилась головой и бредит?

— Я упала, — сказала она, сама не зная зачем.

— Вижу, — кивнула средняя голова. — Левая нога пострадала. Опухнет к утру. Но кость цела — это хорошо. Кость долго срастается, а у людей ещё дольше, чем у нас.

— А у вас кости ломаются? — ляпнула Забава.

Средняя голова усмехнулась — жёлтые глаза прищурились, из ноздрей вырвалось колечко дыма.

— Всякое бывает. Но за последние лет триста — ни разу. Осторожные стали.

— Триста лет...

— А что? Для нас не возраст. Вот прадед наш, Змей Горын, тот вообще с начала времён жил. Пока его Добрыня не зарубил.

— Не зарубил, а усыпил, — поправила средняя. — И не Добрыня, а Никитич. Вечно ты путаешь.

Забава слушала этот диалог и чувствовала, как реальность уплывает. Она лежит на дне оврага с подвернутой ногой, а над ней склонился трёхглавый Змей, и головы спорят, кто из богатырей кого зарубил триста лет назад. Так не бывает.

Она зажмурилась, досчитала до пяти, открыла глаза.

Змей никуда не делся. Только правая голова успела куда-то сходить и вернуться с её лукошком в пасти. Помытым, пустым, но целым.

— Грибы твои я собрал, какие уцелели. Маслята хорошие. А мухомор этот, на который ты полезла, — он несъедобный. Ты же знаешь?

— Знаю... я просто посмотреть.

— А-а, — протянула левая с пониманием. — Полюбоваться. Это да. Он красивый. Я его специально растил. Для настроения.

— Ты? — Забава окончательно перестала что-либо пони-

мать.

— Ну да. Я люблю, когда красиво. У нас в пещере темно, сыро, а тут — такой яркий. Радует глаз.

Средняя голова вздохнула, выпустив облачко дыма побольше.

— Хватит болтать. Девицу до дому надо доставить. Темнеет. Волки выйдут, да и холодно ей на земле лежать.

Забава хотела сказать, что сама, но попыталась пошевелить ногой и зашипела от боли. Нет, не сама.

— Я... я не боюсь, — сказала она, удивляясь себе. — То есть боюсь, конечно. Но не так, как надо бы. Вы... вы не такой, как в сказках.

Средняя голова наклонилась совсем близко. Забава видела каждую чешуйку — крупную, отливающую медью и зеленью. Видела своё отражение в жёлтом глазу — маленькое, искажённое, но узнаваемое. Чувствовала тепло, исходящее от змеиной морды, — сухое, приятное, как от печки.

— В сказках, — сказала средняя голова тихо, — всё врут. Люди видят когти, зубы, огонь — и придумывают страшил-

ки. А того не знают, что мы... другие. Просто другие. Как волк и собака. Вроде похожи, а душа разная.

— И какая у тебя душа?

Средняя голова помолчала. Левая и правая тоже затихли, глядя куда-то в сторону.

— Старая. Очень старая. И немного... одинокая.

В этих словах было что-то такое, отчего у Забавы защипало в носу. Не от страха — от странной, неожиданной жалости. Она знала, что такое одиночество, — когда в избе тихо, только сверчок трещит, и не с кем словом перемолвиться.

— А как тебя зовут? По-настоящему?

Три головы снова переглянулись. Потом средняя ответила:

— Горыныч я. Страж рубежей небесных и земных. Хранитель Калинова моста. Последний в своём роду. Остальные ушли — кто в Навь, кто в Ирий, кто просто уснул и не проснулся. А я задержался.

— А меня Забавой зовут. Из Малых Лопухов. Это деревня

такая, за лесом.

— Знаю, — кивнула правая. — Я тебя видел. Ты поёшь хорошо, смеёшься звонко. И с котом разговариваешь, как с человеком. Это... хорошо. Мы тоже с котом разговариваем.

— У вас есть кот? — удивилась Забава.

— Был, — вздохнула левая. — Ушёл. Сказал, мышей мало, одни летучие. А он летучих не уважает.

Забава фыркнула. Смех получился нервный, срывающийся, но это был смех. И от него вдруг стало легче, будто отпустило внутри.

Горыныч осторожно, очень аккуратно подsunул под неё лапу — огромную, с длинными чёрными когтями, блестящими как вороново крыло. Касание было бережным, почти нежным.

— Ты не бойся. Мы тебя до дому донесём. Только скажи — куда лететь.

— Лететь?

— Ну да. Пешком-то мы не ходим. У нас крылья.

И тут Забава впервые заметила то, что ускользало от взгляда, занятого тремя головами. За спиной Змея темнели огромные перепончатые крылья — сложенные, как у гигантской летучей мыши. Они поблёскивали в закатном свете, и по ним пробегали искры, будто внутри тёк не кровь, а жидкий огонь.

— Я никогда не летала.

— Ничего. Первый раз всегда страшно. Но я тебя крепко держать буду. Над самыми верхушками пройдем, чтобы спокойнее было.

Забава закрыла глаза, глубоко вздохнула и сказала:

— Лети.

Того полёта она не забудет до конца своих дней.

Земля ушла вниз мягко, плавно, будто во сне. В ушах зашвистел ветер — не холодный, не злой, а тёплый, пахнущий хвоей и вечерними травами. Лапы Горыныча держали крепко, но не сжимали — она чувствовала себя не добычей, а

драгоценной ношей, будто Змей нёс хрустальную вазу и боялся уронить.

Они поднялись над лесом, и Забава ахнула.

С высоты лес был прекрасен. Верхушки сосен золотились в закатных лучах, будто кто-то рассыпал по зелёному бархату горсти янтаря. Вдалеке блестела лента реки, петляя меж холмов. Небо на западе горело — оранжевое, розовое, лиловое, — и в этом огне плыли облака, похожие на сказочных птиц.

А главное — тишина. Не мёртвая, как в лесу, а живая, наполненная дыханием ветра и шелестом крыльев. Где-то на грани слышимости звенел колокольчик — может, церковный, а может, и нет.

— Красиво, правда? — спросила левая голова, повернувшись к ней. — Я всегда говорю: не понимаю людей, которые по земле ходят. Сверху-то всё видно!

— А ты видишь, что будет?

Левая замялась.

— Ну... не то чтобы вижу. Чувствую. Это сложно объяс-

нить.

— Не слушай её, — вмешалась средняя. — Она у нас мечтательница. Звёзды считает, облака разглядывает. А я, например, стихи слагаю.

— Стихи?

— Вот послушай: «Летит Змей над лесом, шумит крылом, а в лапах у него — цветок полевой». Это про тебя, кстати.

— Про меня?

— Ты как цветок. Маленькая, хрупкая, но живучая. С оврага скатилась — и ничего. Другая бы померла со страху, а ты разговариваешь с нами, смеёшься даже.

Забава улыбнулась. Рядом с этим огромным, чешуйчатым, трёхглавым существом ей было спокойно — так спокойно, как не было давно. Может, с тех пор, как мать умерла.

— А ты всегда один?

Горыныч помолчал. Даже крылья взмахнули реже.

— Всегда. Люди боятся, звери сторонятся, птицы облета-

ют. Только ветер да облака. А с ними не поговоришь — слушают, но не отвечают.

— А я вот... не боюсь. То есть боюсь, но не уйду.

— Вижу. Поэтому тебя и несу. Другая бы визжала, вырывалась. А ты лежишь смирно. Доверяешь.

— А ты не обманешь доверие?

Три головы повернулись к ней разом, и во всех трёх парах жёлтых глаз Забава увидела что-то, отчего сердце ёкнуло.

— Никогда, — сказали все три хором, и это прозвучало как клятва.

Лес кончился, началось поле — то самое, что отделяло деревню от чащи. Тёмное, сжатое, с редкими островками нескошенной травы. На взгорке уже виднелись огоньки.

— Сюда, к крайней избе. Где свет в окошке.

— Это у тебя свет? — спросила правая.

— Я лучину оставила. Думала, быстро вернусь.

— Не быстро вышло, — хмыкнула левая.

Горыныч начал снижаться — так же плавно, без рывков. Земля приближалась: вот уже плетень, крыльцо, кот Васька на завалинке. Кот смотрел в небо круглыми от ужаса глазами.

Змей мягко опустился у калитки, бережно уложил Забаву на траву и отступил на шаг.

— Вот и всё. Дома ты.

Забава попыталась встать — нога снова отозвалась болью.

— Сиди, — велела правая голова. — Сейчас я.

Она скрылась в темноте и через минуту вернулась, держа в пасти крепкий посох — гладко обструганный, будто специально для такого случая припасённый.

— Откуда? — только и спросила Забава.

— У нас в пещере много чего есть. Мы ж говорили — хозяйственные.

Забава взяла посох, оперлась, поднялась. Стоять было

больно, но терпимо. Сделала шаг к калитке, обернулась.

Горыныч стоял на краю поля — огромный, тёмный на фоне звёздного неба. Три головы смотрели на неё, и в жёлтых глазах отражался свет луны.

— Спасибо.

— Не за что. Ты это... заходи, если что. К оврагу. Мы там всегда. Скучно одному-то.

— Зайду, — пообещала Забава, и слова сорвались с губ легко.

Горыныч кивнул всеми тремя головами разом, развернулся, взмахнул крыльями и взмыл в небо. Чёрный силуэт на фоне звёзд — и вот уже нет его, только ветер шумит в верхушках берёз да где-то далеко кричит ночная птица.

Забава постояла, глядя в небо, потом, опираясь на посох, поковыляла к крыльцу.

Кот Васька встретил её возмущённым мяуканьем: мол, где шлялась, хозяйка, ужин пропустила, и что это за чудище летало?

— Молчи уж, — сказала Забава, почесав его за ухом. — Сам мышей ловить не умеешь, а туда же — осуждать.

В избе было тепло, пахло травами и печным дымом. Лучина догорала, бросая на стены пляшущие тени. Забава доковыляла до лавки, вытянула больную ногу. В теле — усталость, в голове — туман, а на душе странное, незнакомое чувство.

Будто мир стал больше.

Будто в нём появилось что-то новое, огромное, непонятное, но тёплое. Как печка зимой. Как мамины руки когда-то.

Она уснула, сидя на лавке, не раздеваясь, с котом на коленях. И снились ей жёлтые глаза, и крылья, и полёт над вечерним лесом, и голос — низкий, густой: «Никогда не обману».

А на краю деревни, в своей кузне, Митька-кузнец вышел на порог глотнуть свежего воздуха. Поглядел в небо, на звёзды, и вдруг одна звезда на миг закрылась тенью — слишком крупной для птицы, слишком быстрой для облака. Митька долго хмурился, глядя ей вслед, потом вернулся к горну — ковать очередную подкову. Но что-то в груди заныло, будто предчувствие.

Он ещё не знал, что с этого вечера жизнь в Малых Лопухах изменится навсегда.

Глава вторая. Тень над деревней

Утро после той ночи выдалось тихое, росистое. Солнце встало алое, будто стыдилось за вчерашний зной, и сразу спряталось за облака — серые, пухлые, обещающие дождь к вечеру. Петух старосты Прохора охрип и кукарекал с перебоями, словно чувствовал: что-то в мире пошатнулось, какой-то привычный порядок дал трещину.

Забава проснулась от того, что кот Васька улёгся ей на лицо. Он делал так каждое утро — проверял, жива ли хозяйка, — но сегодня это было особенно некстати. Голова гудела, нога ныла, а во рту стоял вкус глины и лесной прели. Она с трудом спихнула кота, села и первым делом глянула на лодыжку. Та распухла и посинела. Забава пошевелила пальцами — больно, но терпимо. Не перелом. Уже легче.

Рядом с лавкой стоял вчерашний посох. При дневном свете он оказался не просто палкой, а ладной клюкой из тёмного дерева, с удобным изгибом под руку и выжженным по всей длине узором — не то травы, не то языки пламени, не то змеи, кусающие собственный хвост. Забава провела пальцами — дерево хранило тепло, будто помнило прикосновение

огромных лап.

— Чудно, — прошептала она.

Васька смотрел с укоризной. В жёлтых глазах читалось: «Где была? С кем летала? Почему от тебя пахнет дымом и чешуёй?»

— Не твоего ума дело. Иди мышей лови.

Кот фыркнул и отвернулся. Забава взяла клюку и, хромая, побрела к печи — разводить огонь, ставить чугунок с водой. День начинался, надо было как-то жить дальше.

Но жить «как раньше» не получалось.

Она ловила себя на том, что то и дело поглядывает в оконце — на небо, на край леса, туда, где вчера растворился тёмный силуэт. В груди теплело, ёкало. Глупость, конечно. Девушка двадцати двух вёсен, самостоятельная, хозяйственная — и вдруг размечталась о Змее трёхглавом. Стыдоба. Только стыдно почему-то не было.

Забава плеснула в лицо студёной водой, заплела косу потуже и вышла покормить кур. Куры, увидев хозяйку с клюкой, закудахтали встревоженно: мол, что это ты хромаешь?

Неужто волк покусал?

— Сама упала. С кем не бывает.

Куры не поверили. Куры вообще существа подозрительные.

Из-за плетня донёлся голос — сладкий, как патока, и острый, как осока:

— Ой, Забавушка, что ж это с тобой приключилось? Никак, ноженьку повредила?

Тётка Лукерья. Стоит у калитки, руки в боки, глаза горят любопытством несытым. Платок сбился набок, из-под него выбиваются седые космы, на щеках румянец — будто не просто шла мимо, а бежала бегом, боясь пропустить интересное.

— Доброго утречка, тётушка. Упала вчера. В овраге. Подвернула ногу.

— В овраге?! — Лукерья всплеснула руками так, что с соседней яблони сорвалась ворона. — В каком? Уж не в Калиновом ли?

— В нём самом.

Лукерья перекрестилась мелко, быстро, будто муху с лица согнала.

— Ох, девонька, говорила я тебе — не ходи туда! Место гиблое, проклятое! Там Змей лютует, девиц ворует, кровь пьёт, костями хрустит! Как же ты жива-то осталась?

Забава хотела ответить что-нибудь резкое, но прикусила язык. Не поймут. Или, того хуже, поймут — и тогда мужики с вилами отправятся к оврагу. Этого она допустить не могла.

— Сама выбралась. Ползком. Еле доползла.

Лукерья прищурилась, оглядела Забаву, задержала взгляд на клюке.

— А посошок-то откуда? Работа тонкая, нездешняя.

— В лесу нашла. Подобрала, чтоб идти легче.

— В лесу... — протянула Лукерья. — Ну-ну.

Она постояла, поцокала языком и ушла. Но Забава видела: отойдя на десяток шагов, Лукерья свернула не к своей избе, а к тропе на Калинов овраг.

«Выслеживать пошла. Ну, держись, Горынушка. Сейчас про тебя такого насочиняют — вовек не отмоешься».

Лукерья и впрямь пошла к оврагу.

Не то чтобы она была смелой. Напротив — боялась всего: грозы, мышей, чёрных кошек, рассыпанной соли. Но любопытство жило в ней, как ленточный червь, постоянно требуя пищи. И сейчас эта пища манила её к оврагу. В руке — узелок с краюхой хлеба и чесночиной от нечисти, на шее — ладанка с полынью и заговорённой солью, в кармане — маленький острый ножик.

Лес встретил неприветливо. Ветки цеплялись за платок, корни норовили подставить подножку, где-то в чаще ухал филин, хотя филину положено спать днём. Лукерья крестилась через каждые пять шагов, но шла.

К полудню она добралась до оврага. Солнце как раз выглянуло, осветив мрачное место, и от этого оно стало ещё страшнее: крутые глинистые склоны, тёмная вода на дне, замшелые валуны. И красный мухомор на одном из них — огромный, яркий, будто нарочно выставленный.

Лукерья замерла. Внутри похолодело.

— Вот оно, значит... Цветочек аленький. Приманка для дурных девок.

Она хотела повернуть обратно — долг выполнен, увидела, и хватит, — как вдруг заметила кое-что ещё.

На склоне, где Забава сорвалась, были следы. Чёткие борозды от каблуков, смазанный отпечаток тела. А рядом — другие следы. Огромные. Словно кто-то провёл по глине граблями, только зубья были когтистые. И вели эти следы от места падения к ровной площадке на дне, а оттуда — в никуда. Будто то, что их оставило, взлетело.

Лукерья села на землю. Ноги не держали.

— Змей... Змей её подобрал. Змей домой принёс.

В голове закрутились картины одна страшнее другой. Вот Забава лежит беспомощная. Вот спускается с неба чёрная тень. Вот когтистые лапы подхватывают девицу, уносят в логово... Или он её отпустил? Но почему? Что он с ней сделал? Может, заколдовал? Может, она теперь порченая?

Лукерья вскочила и, не оглядываясь, побежала обратно. Ветки хлестали по лицу, платок слетел, ладанка болталась, была по груди, но она ничего не замечала.

Она должна была рассказать. Всем. Немедленно.

Митька-кузнец работал с рассвета.

В кузне было жарко, душно, пахло окалиной и калёным железом. Горн дышал ровно, глубоко, будто живое существо, и в его алом зеве рождались подковы, гвозди, ухваты. Митька любил эту работу. Здесь всё было понятно: нагрел — куй, остудил — готово. Железо не врёт. Не то что люди — говорят одно, думают другое, делают третье.

Сегодня работа не шла.

Он третий раз перековывал одну и ту же подкову, и всё выходило криво. Перед глазами стояло вчерашнее: вечернее небо, и в нём — тень. Слишком большая для птицы, слишком быстрая для облака. И летела она от Калинова оврага прямо к дому Забавы.

Митька не был суеверным. В бабкины сказки про леших и

Змеев Горынычей не верил. Вернее, верил в детстве, а потом вырос, взял молот и понял: настоящие чудища — не те, что в лесу, а те, что в людях сидят. Но вчерашняя тень не давала покоя.

Он вышел из кузни, утёр пот со лба, глянул на реку. Вода текла лениво, отражая серое небо. На том берегу бабы полоскали бельё, смеялись. Обычный день. Обычная жизнь.

— Митя! Митенька!

К кузне бежала Лукерья. Вид дикий: платка нет, волосы растрёпаны, глаза выпучены. Вцепилась в рукав и затараторила:

— Беда, Митенька! Забаву нашу Змей унёс! Вернее, не унёс, а... не знаю что! Но она с ним якшается! С самим Горынычем! Я следы видала! И посох у неё змеиный! И пахнет от неё дымом и серой!

Митька нахмурился, высвободил рукав.

— Погодь, Лукерья. Забава сказала — ногу подвернула.

— Врёт она! — Лукерья подпрыгнула от возмущения. — Я в овраге была! Там следы — огромные, когтистые! И летал

кто-то вчера! Ты сам видал, я знаю, что видал! У тебя кузня на отшибе, ты всё видишь!

Митька помрачнел. Значит, не почудилось.

— И чего ты от меня хочешь?

— Как чего?! Спасать девку надо! Пока Змей её не окрутил, не заколдовал, не утащил в логово! Собирай мужиков, бери вилы — и к оврагу!

— А если Забава сама к нему ходит? Если он её не неволит?

Лукерья отшатнулась, будто он её ударил.

— Да ты что говоришь-то?! Какая девка в своём уме к Змею пойдёт? Это порча! Морок! Нельзя такое терпеть!

Митька долго молчал, глядя на реку. Потом сказал:

— Я подумаю.

— Думай быстрее! — крикнула Лукерья и убежала искать других слушателей.

Митька вернулся в кузню, но за работу не взялся. Сел у горна, опустил голову. В груди было тяжело, будто налили расплавленного свинца.

Он любил Забаву. Давно. Безнадёжно. И знал, что она на него не смотрит. Но всё равно любил — молча, верно, без требований. Просто знать, что она есть, ходит по этой земле, иногда проходит мимо и бросает короткое «Здравствуй, Митя», — этого хватало.

А теперь у неё кто-то появился.

И кто? Змей. Чудище из сказок. Трёхглавое, крылатое. То, чем детей пугают.

Митька засмеялся невесело.

— Ну и дела. Значит, Змею можно, а кузнецу нельзя. Понятно.

Он взял молот, ударил по остывшему железу — раз, другой. Искры брызнули и погасли. С каждым ударом в голове прояснялось.

Нет. Не пойдёт он с вилами на Змея. Не станет героем из сказки. В сказках герой спасает девицу, а девица выходит за

него и живут они долго и счастливо. А в жизни, если девица сама выбрала Змея, герой с вилами выглядит не спасителем, а дураком.

Надо поговорить с Забавой. Самому. Спросить: что у неё на сердце? И если она счастлива со своим Змеем — он отступит. Навсегда.

А если скажет, что морок, что неволит...

Тогда он возьмёт свой самый большой молот. И пойдёт к оврагу.

Забава сидела на завалинке и расчёсывала волосы.

Это было любимое занятие в минуты душевной смуты. Мать говорила: «Волосы, дочка, — это мысли наружу. Пока чешешь — всё в голове по полочкам раскладывается». Может, и врала, но помогало.

Коса сегодня не слушалась. Волосы путались, цеплялись за гребень, будто и они чувствовали: что-то не так. Забава распутывала пряди и думала.

О жёлтых глазах, что смотрели с любопытством и заботой. О голосах, что спорили друг с другом, но в главном были едины. О лапах, что несли её над лесом бережно, как величайшую драгоценность. О словах, сказанных на прощание: «Заходи, если что. Скучно одному-то».

«Заходи, если что». Как просто. Будто речь не о пещере Змея Горыныча, а о соседской избе, где ждут с пирогами и чаем.

А что, если и правда зайти?

Мысль была крамольная, опасная, но сладкая. Забава представила, как спускается к оврагу — уже не падает, а идёт спокойно, с посохом. Как из темноты выступает огромная фигура, и три головы склоняются к ней, и жёлтые глаза загораются радостью. «Пришла. А я уж думал — не придёшь».

И они будут сидеть на краю оврага, смотреть на звёзды, и он будет рассказывать ей о том, как устроен мир — настоящий, древний, где боги ходили по земле, а змеи были их детьми. И она будет слушать, и, может быть, даже петь ему — про калину, про зореньку ясную, про любовь, что крепче камня.

Забава потрянула головой, отгоняя наваждение.

— Совсем сдурела. Влюбилась в Змея. Хуже не придумаешь.

Васька согласно мяукнул. Мол, да, хозяйка, умом ты тронулась. Но я не осуждаю. Я кот, я понимаю: любовь зла.

— Спасибо, утешил.

И тут она услышала шаги. Тяжёлые, уверенные, с металлическим позвякиванием. У калитки стоял Митька — смущённый и решительный одновременно. В руках что-то, завёрнутое в тряпицу.

— Здравствуй, Забава.

— Здравствуй, Митя. Проходи.

Митька прошёл, но не сел — встал напротив, сжимая свёрток.

— Я это... вот. Подкову тебе сковал. На счастье. Над дверью вешать.

Забава развернула тряпицу. Подкова была знатная — небольшая, изящная, но крепкая, с выбитым по краю узором

из цветов и колосьев. Работа тонкая, любовная. Сразу видно — для души делал, не на продажу.

— Красивая. Спасибо, Митя. Повешу.

Митька кивнул, но не ушёл. Переминался, и по лицу было видно — хочет сказать что-то, но не решается.

— Ты чего, Митя? Говори уж. Я не кусаюсь.

Он набрал воздуха, как перед прыжком в прорубь.

— Слышал я, будто ты со Змеем знаешься. С Горынычем. Это правда?

Рука с гребнем замерла. Внутри что-то оборвалось и полетело вниз, как камень в колодец. Донесли.

— А если и правда? Что тогда?

Митька выдержал взгляд. Глаза у него были голубые, чистые, как небо в мае, и в них стояла боль — неприкрытая, честная.

— Тогда я спросить хочу. Он тебя неволит? Морок навёл? Ты сама к нему идёшь или он силой держит?

Забава помолчала. Потом улыбнулась — грустно, но светло.

— Сама, Митя. Никто меня не неволит. Просто... он другой. Не такой, как о нём рассказывают. Он старый, одинокий. Стихи слагает. Звёзды любит. И на меня смотрит так, будто я — самое дорогое, что у него есть.

Митька опустил голову. Плечи поникли.

— Понял. Что ж... Счастья тебе, Забава. Ежели что — ты только скажи. Я всегда рядом.

Он повернулся и пошёл к калитке. Забава смотрела в широкую, сильную, надёжную спину, и что-то щемило в груди. Хороший он. Добрый. Верный. Но сердцу не прикажешь. Сердце само выбирает. И выбрало оно не кузнеца с голубыми глазами, а Змея с тремя головами и жёлтым взглядом.

— Митя!

Он обернулся.

— Спасибо за подкову. И за то, что спросил. А не с вилами пришёл.

Митька кивнул, криво улыбнулся и ушёл.

Забавка осталась одна. Васька прыгнул на колени, замурчал. Она гладила его машинально, а сама смотрела на подкову в руках.

Надо повесить над дверью. На счастье.

Ей теперь счастье ой как понадобится.

Лукерья не теряла времени даром.

Она обежала всю деревню — благо та была маленькая, три двора. Побывала у старосты Прохора, у молодухи Дарёнки, даже к бабке Евстигнее заглянула, хотя та её на дух не переносила. И везде рассказывала одну историю, с каждым разом обраставшую новыми подробностями.

Старосте Прохору: Змей унёс Забавку в когтях и держал в пещере до утра, только петушиный крик заставил отпустить добычу.

Дарёнке: Змей обернулся добрым молодцем, заговорил

Забаве зубы и теперь ходит к ней по ночам.

Бабке Евстигнее: Забава сама к Змею бегают, потому что он «присушил сердце» колдовским зельем из змеиной крови и лунного света.

Бабка Евстигня, старая и мудрая, выслушала молча и сказала только одно:

— Язык твой, Лукерья, длиннее змеиного хвоста. И такой же ядовитый. Шла бы ты домой за своими горшками следить.

Лукерья обиделась и ушла, но дела не оставила. К вечеру деревня гудела, как улей. Мужики спорили у колодца — идти ли на Змея с вилами или подождать. Бабы шушукались и обещали не спускать с Забавы глаз.

А Забава ничего этого не знала. Она сидела в избе, смотрела на подкову над дверью и думала о том, как завтра пойдёт к Калинову оврагу. Не потому, что тянуло колдовством. А потому, что хотелось снова увидеть жёлтые глаза. Снова услышать голос, похожий на три голоса сразу. Снова почувствовать себя не просто девкой из Малых Лопухов, а кем-то, кого ждут.

Глупо? Может, и глупо.

Но сердцу не прикажешь.

Над деревней сгушались сумерки. В кузне Митьки погас горн. У Лукерьи долго горела лучина — она всё шептала, перебирала травы, готовила обереги. Староста Прохор уснул на печи, так и не решив, что делать. Дарёнка кормила младенца и думала: может, Змей не такой уж и страшный, если его можно приручить.

А за околицей, у края леса, мелькнула тень. Слишком большая для птицы. Слишком быстрая для облака.

Горыныч тоже не спал.

Он кружил над Калиновым оврагом, смотрел вниз жёлтыми глазами и ждал. Средняя голова слагала стихи про девушку с русыми волосами и смелым сердцем. Левая мечтательно глядела на звёзды. Правая принюхивалась к ветру — не пахнет ли дымом, не грозит ли опасность.

Все три ждали одного.

Придёт ли она завтра?

Или испугалась? Или люди отговорили?

Горыныч вздохнул — и над лесом пронёсся тёплый ветер, пахнувший дымом и древней тоской.

Глава третья. Яство княжеское

Утро третьего дня выдалось тихое, задумчивое. Небо над Малыми Лопухами затянуло серой пеленой — не тучи грозовые, а ровная плотная облачность, сквозь которую солнце просвечивало размытым золотым пятном. Воздух был влажен и тёпел, пахло прелыми листьями и близким дождём. Куры не кудахтали, пёс Прохора не брехал, даже кузнечики примолкли — будто деревня затаила дыхание перед чем-то важным.

Забава проснулась сама. Кот Васька спал на печи, свернувшись в тугой клубок, и даже ухом не повёл, когда хозяйка спустила ноги с лавки. Лодыжка всё ещё болела — синяк расцвёл фиолетовым и жёлтым, — но ходить стало легче. Посох Горыныча стоял у изголовья, и рука сама потянулась к тёплому дереву.

Она развела огонь, поставила чугунок с водой для каши. Двигалась медленно, задумчиво — как человек, который знает, что сон был важный, но пересказывать его вслух не стоит.

Снилось ей всю ночь невесть что: то ли летела над лесом без крыльев, то ли сидела в тёмной пещере и слушала древние былины, то ли стояла посреди деревни, а вокруг плясали тени — и не разобрать, люди это, звери или кто похуже. Просыпалась трижды, пила воду, глядела в тёмное оконце и снова проваливалась в дрёму.

При свете дня всё виделось иначе. Страхи ушли, сомнения затаились по углам, а поверх них легла спокойная, как гладь лесного озера, уверенность: она пойдёт к оврагу. Сегодня. Сразу, как управится с хозяйством.

Сварила кашу — пшённую, рассыпчатую, на молоке от Дарёнкиной козы. Ела не торопясь. Заметила, что за последние два дня стала спокойнее. Раньше всё бегом — хозяйство, огород, заготовки. А теперь будто кто-то внутри сказал: «Не спеши. Всё успеется».

Вышла во двор. Куры сбежались к корыту, закудахтали. Забава кинула им зерна, сменила воду, собрала яйца — три штуки, тёплые, с влажной скорлупой. Оглядела огород. Сорняки полезли — надо бы прополоть, да подождут. Капуста завязалась тугая, сочная — на зиму хватит.

И тут она остановилась посреди двора.

А что, если испечь пирогов?

Не для себя. Для него. В благодарность за спасение и просто так — потому что хотелось сделать что-то хорошее. Говорил же он, что гречу со шкварками уважает. Значит, ест обычную еду. Не глотает сырыми овец и не грызёт берцовые кости, как в сказках сказывают.

Забава вернулась в избу и принялась за тесто.

Мука в ларе — пшеничная, просеянная сквозь частое сито. Высыпала в квашню, добавила тёплой воды, щепоть соли, ложку мёда и закваску, что берегла с прошлого раза. Замесила тесто — тугое, упругое, гладкое, — укрыла полотенцем и поставила к печке подходить.

Пока тесто дышало, занялась начинкой. Капусту нашинковала тонко-тонко, как мать учила. Лук нарезала мелкими кубиками, высыпала на сковороду с конопляным маслом — запах пошёл сладкий, уютный, домашний. Капусту припустила тут же, до мягкости, посолила, добавила щепоть сушёного укропа. Отставила остывать.

Слепила пироги. Тесто разделила на маленькие колобки, каждый раскатала кружком, положила начинку, защипнула

края гребешком. Получилось двенадцать — ровно, как по счёту. Выложила на противень, смазала яичным желтком и поставила в печь на самый жар.

Через полчаса по избе поплыл такой дух, что даже Васька проснулся, спрыгнул с печи и уселся перед заслонкой, глядя жадными глазами.

— Не про тебя пироги. У тебя рыба в миске.

Васька обиженно мяукнул: мол, рыба рыбой, а пирогом тоже не побрезгую.

Пироги удались на славу — румяные, пухлые, с золотой корочкой. Забава сложила их в лукошко, укутала сверху чистым рушником. Подумала — и добавила кринку со сметаной.

Собралась быстро. Сарафан попроще, но чистый. Платок новый, с вышитыми васильками. Лапти попрличнее. Посох в одну руку, лукошко в другую. Коту наказала мышей ловить и вышла за калитку.

Деревня спала в утренней истоме. У колодца никого, у Лукерьи ставни прикрыты — наговорила вчера, теперь дрыхнет. Из трубы Митькиной кузни ленивый дымок. Забава про-

водила его взглядом, но сворачивать не стала. Она и так всё сказала вчера. И он всё понял.

Зашагала к лесу.

Лес встретил настороженной тишиной. Птицы не пели, только дятел вдалеке выбивал вечную дробь. Воздух влажный, пахло грибами, мхом и близким дождём. Тропа к оврагу подсохла, и Забава шла легко, почти не хромяя. Посох будто сам вёл её, угадывая дорогу.

Странно, думала она. Раньше в лесу всегда была настороже — слушала каждый шорох, помнила материнские наказания. А теперь шла спокойно, как к себе домой. И лес чувствовал это. Ветки не цеплялись, корни не мешали, даже комары кусали лениво, без азарта.

У Калинова оврага остановилась, перевела дух.

Склон всё тот же — крутой, глинистый, с торчащими корнями. Мухомор на замшелом валуне алел, будто насмехаясь над вчерашним падением. Вода на дне чернела неподвижно.

— Эй. Горынушка. Ты тут?

Тишина. Только ветер в кронах.

Забава поставила лукошко на край, села на валун, вытянула больную ногу и стала ждать.

Недолго.

Сперва земля дрогнула — едва заметно, будто гигантский зверь пошевелился в берлоге. Воздух стал плотнее, теплее, наполнился знакомым запахом дыма и сухой чешуи. А потом сверху, заслоняя солнце, скользнула тень.

Горыныч спускался медленно, бесшумно, как огромная сова. Крылья отливали бронзой, перепонки просвечивали насквозь, и в них горели капли солнечного света. Он мягко приземлился на край оврага, сложил крылья и склонил к Забаве все три головы разом.

— Пришла, — сказала средняя с интонацией, похожей на улыбку.

— Пришла.

— А я думал — не придёшь.

— Я же обещала.

— Мало ли, — вмешалась левая. — Люди много чего обещают. А потом забывают. Или боятся. Или им объясняют, что Змей — это плохо, и они верят.

— Мне объясняли, — усмехнулась Забава. — Но я не слушала.

Правая одобрительно фыркнула, выпустив колечко дыма.

— Молодец. Упрямая. Упрямые долго живут.

Забава протянула лукошко.

— Я пирогов испекла. С капустой. Ты говорил, что гречу уважаешь. А пироги?

Три головы уставились на лукошко с таким выражением, будто им протянули царский венец. Левая осторожно принюхалась. Правая тихонько вздохнула, выпустив розоватый дымок. Средняя молчала, но в жёлтых глазах зажглось что-то новое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.